

ВАЛЕРИЙ ИСАЕВ



БРЁХНИ

ПЛЯСУН

Ванька Пилюгин — наш березницкий гармонист — на вопрос, непременно возникающий в знак признания его высокого, а для некоторых и недостижимого мастерства, останавливая “исполнение” и, глядя в глаза вопрошавшему, отвечал так:

— С детства всё пошло. С детства... — А потом продолжал задумчиво, складывая на гармони руки и глядя куда-то вдаль, может, в то самое детство, о котором только что говорил: — Бабушка, бывало, начнёт тереть на тёрке что-нибудь... А я в пляс... Верить-нет, мог танцевать столько, сколько она будет тереть... Так то ж бабушка, родная кровь... Как же! Щадила. А мужики, как прознали про ту мою слабость, так иной раз и издевались просто: приходилось танцевать до упаду. Им-то что — смех, да и только, а мне какая радость была! Вот падал, верить-нет, у них на глазах, а ноги даже у лежащего так и ходили ходуном, продолжали своё радостное дело. Только им, видать, понять это не дано было — они своё получили и, перешагивая через меня, расходились по домам, уверенные, что ухайдокали пацана, лишили сил.

Им и в голову не приходило, что я-то благодаря им в очередной раз порадовался жизни, наполненной божественными звуками обожаемой мной уже в ту раннюю пору музыки. И невдомёк им — “истязателям”, — что не му-

ИСАЕВ Валерий Николаевич родился в 1941 году в Ленинграде. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. Доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук. Работал по профилю в Рубцовске (Алтай) и в Москве. Автор 12 книг прозы и 6 поэтических сборников. Среди них «Огонь плящий», «Первый и последний», «На краю». Лауреат премии Александра Невского. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

чился я от их насмешки, нет! Я с нетерпением ждал, только виду не подавал, — а вдруг да спугну! — когда они снова одарят меня священными уже тогда для меня звуками, исторгаемыми не только тёркой (я ведь незаметно для них рос, вырастал!), но и звуками начинавшего работать двигателя, криками “доб-цобе” на волов, брэнчанием уздечек на рабочей лошади да просто стуком железяки об железяку... А призывающий к жизни крик петуха! А уж там оно само пошло-поехало. И стал я слышать музыку нашего сада, реки, луга... А уж про песни возвращавшихся с покосов мужиков и баб — про то я молчу. Я только теперь понимаю, что я жил в раю, только не знал про это...

Хочешь — сыграю твой портрет? Просто интересно — узнаешь себя или нет... Хочешь?..

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Это мне сам Виться Зизя рассказывал... Отец его — старший Зизя, — говорит, видит сон: подходит к нему женщина, статная такая, конечно, красавица, но с виду строгая и ответственная... Я, говорит, Зизя, твоя страна... Прими, говорит ему его страна, за твои многолетние труды в мирном и ратном деле вот эту тысячу рублей... И кладёт их на табуретку прямо перед ним. Табуретка низенькая, так что получилась так, что страна перед ним поклонилась чуть ли не в самые ноги... Не скрою, говорит, само по себе приятно было... Мало этого, так она ещё такой улыбкой одарила батю, что он готов был ещё одну жизнь протрудиться, чтобы она ещё раз так вот улыбнулась ему...

Спал дальше или не спал — и сам не понимал... только со стороны было видно, что всё руки к чему-то тянул — то ли к деньгам тем, то ли к ней, к стране своей — не поймёшь ведь, не спросивши... А как батю будить — нельзя!.. А наутро, чуть глаза открыл — давай отец искать те деньги...

“Я же заслужил их...” — приговаривал. А сам ту табуретку и так держал в руках, и эдак, и на просвет смотрел... Всю постель перерыл. — Ну, я же заслужил...” — говорит, а на самого жалко глядеть. Потом всех нас опрашивать стал с пристрастием, каждому в глаза глубоко заглядывал — подзревал... “Я же, говорит, заслужил... Я бы все свои долги... Я бы хоть один зуб себе вставил... Я бы...” А когда мы ему стали говорить: “Да ты, батя, сон с явью спутал...” — он отвечал дрожащим голосом: “Да сами вы дураки! Разве я не заслужил... Как вы не поймёте...” А сам чуть не плачет.

БЕССТЫДНИЦА

Янька, сосед, рассказывал, как ехал на катере от города до Березников... Хорошие времена были: автобусы из города до Березников один за другим мотались туда-сюда, сюда-туда... Не хотите на автобусе — пожалуйста вам, катер... На свежем воздухе, с ветерком, в прохладце — водичка рядом... Молодухи кругом, к любой подходи — твоя! Кругом вода... Отступить, как говорится, некуда... Не в воду же ей прыгать...

К одной — самой красивой, конечно, подхожу, — рассказывает, — подсел к ней, из одного подсолнуха погрыз с ней семечек... И говорю ей шутку, которая первой пришла в голову: “Если вы сейчас, красивая вы моя, думаете о том же, о чём и я... То как же вам не стыдно?..” Потом долго смеялись друг над другом. А через полгода поженились...

ПРИМЕТЫ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

В наших Березниках почему-то чуть ни в каждой хате висит икона Пантелеймона Целителя... Почему так — никто не знает... Но, наверное, оттого, что дух Пантелеймона присутствует в каждом почти доме и каждый из наших так или иначе рано или поздно задумывается над проблемами здоровья и находит какие-то свои решения.

Колька Лизы Трофим Пальча лечит уже готовые болезни, спасает то животину, то людей... А Ванька Дупин занимается, что называется, предупреждением их и в свободное от работы (и откуда только он его берёт?!) время сортирует наших безрелигиозных на слабых и сильных по своим, только ему известным, приметам.

Я как-то засиделся с ним на скамеечке — коров пригнали, можно было и отдохнуть, пока их доят. Много для себя полезного узнал. Ванька говорит, если с вечера до утра свежий молоденький мохнатый ещё огурчик есть и есть уголки с рамок из ульев всю ночь, всю напролёт, и ничего с тобой после этого не случится, — это хороший признак... Если камень, который ты до армии поднять не мог, не можешь поднять и в старости — значит, сил в тебе не убавилось... Если, чем громче председатель орёт на тебя, а ты его всё хуже и хуже слышишь, — значит, и со слухом у тебя всё в порядке... Если мужики говорят и слева, и справа, — куда ты смотришь? Федька или, там, Василий! Гляди: жена-то твоя... а ты ничего не видишь — значит, и со зрением у тебя всё хорошо... Если без слёз не можешь смотреть вслед улетающим по осени птичьим клиньям — значит, и душа у тебя на своём месте... А уж если ты в колхозном свинарнике простоял целый час и не зажимал ноздрей, и на ногах остался стоять, не упал...

ВЫСОТА ДУХА

К Анне Андреевне всегда захожу, когда мимо иду. Сам не знаю, почему... Красивая она женщина... Хотя и в годах уже, а чем-то веет от неё очень хорошим... Сколько лет хожу, а понять не могу, почему она такая и почему к ней так всегда меня тянет, и невозможно пройти мимо её одинокого дома.

— А почему, дедуш, одинокого? Она же вроде замужем была...

— Вот то-то и оно, что была... Была-была да и перестала быть... Узнала, что мужик изменил ей... Простить не смогла. Выставила его за порог... Как он только её ни просил... Как ни убивался... Сказала: “Нет!” — и всё тут. Он помучился, походил к ней, под окнами её настоялся... Кто-то его там и подобрал... Принял к себе... Так в Капустичах и прижился, семью завёл, ну, и всё такое прочее... Потом непрощённым так и умер... Теперь его могила самая ухоженная — одна такая на всё кладбище... Я долго и сам не знал — почему, кто за ней так хорошо ухаживает... А тут в очередной раз зашёл к Анне Андреевне. Поговорили... Я уж было и засобирился идти себе дальше, как сам будто бы разговор завязался про её прошлую жизнь. Про неверного муженька...

— Так и не простили вы его, Анна Андреевна?..

— Так и не простила... — отвечает. — Разве ж можно такое простить... — говорит.

Смотрю, собирается куда-то... Спрашиваю:

— Куда?

— Да к могилку же моего бывшего...

— Как так? Вы же говорите...

— Ну, это по-человечески я его простить до сих пор не могу, а по-христиански... Как же мне его не простить? Давно простила... Да и из Капустичей перестали ходить к нему... Как было не простить... И ты бы простила. Как же по-другому — нельзя...

Смеется... Взяла узелок и пошла себе по самому главному в жизни каждого человека делу.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

Это дядька Петя из Корнева рассказывал...

— Говорю, — говорит, — Нюське, жене своей: “Нюсь, ко двору лошадь с санями подогнали... Собирайся, навоз будем на огороды возить из коров-

ника...” Зачем-то Нюська пошла в сенцы, что-то там стала искать... Да наткнулась на оставленное ею в день нашей свадьбы шитьё на пальцах. Так как будто час назад она его оставила, девкой ещё... И иголка ещё с ниткой мулине, правда, уже выцветшей, будто только что воткнута. А ведь столько лет после свадьбы прошло — не сосчитать...

Потянулись её руки к шитью, взяла она те пальцы, заулыбалась, — сама потом рассказывала Петьке, — и захотелось ей прерванное свадьбой дело продолжить... Иголку взяла было в руки... А пальцы-то не слушаются... Ещё раз попробовала. Не тут-то было... Вышла с пальцами из сеней да к Петьке, мужу своему. “Ты что же, — говорит, — сукин сын, жисточку мою забельшил... Ты смотри, что ты со мной сделал... — И в нос Петьке шитьё-то тычет... — А ведь я лучше всех вышивала в деревне... А теперь... Смотри, паразит проклятый...”

Опустилась на пол и заплакала горькими слезами... Петька такого снести не может... Подходит, остороженько кладёт ей руку на плечо... А она ему: “Хотела продолжить шитьё, пустила руки с иголкой по старому ещё тому — девичьему — следу. А ничего у меня не получается... Захотелось, как раньше было... А руки-то огрубели от работы...”

Пальцы не слушаются. Нынешняя, теперешняя жизнь не пускает её в ту — прежнюю, молодую — колею, не отпускает, препятствует... Сидит, плачет. Обливается горячими слезами.

Лошадь всхрапнула за окном. Петька слова успокоительные Нюське своей кажет: “Не расстраивайся, Нюсенька, моя дорогая... Лом, считай, та же иголка... Ну, малость побольше только. А так... Почитай то же самое... Так что пойдём, поработаем, повышиваем с тобой вместе. И себе в удовольствие, и людям на радость. Ты будешь отламывать. А я носить. Не плачь. Пошли. Кобыла заждалась. Пора...”

ЧУДО-ЛЕКАРСТВО

Валентин Пилогин неделю, наверное, ходил и всё за сердце держался. Жаловался, что сильно болит в груди... Щемит, саднит, мучает... Крепко ему, видно, досталось, раз поехал в город, в Рыльск, в больницу — делать нечего. А сейчас добираться, сам знаешь как: машины не останавливаются, катер отменили, потому как денег ни у кого не стало — невыгодно... Да и несколько раз подряд грабили перевозчиков, отнимали сумки с дневной выручкой. Одного чуть не убили... Автобус раз в неделю ходит по той же причине: нет денег у народа. Сроду такого не было! Вот и приходится теперь на своих двоих...

Ну, добрался кое-как. Побывал у врача... Она ещё ему возьми да скажи: с вашим сердцем вам надо почаще у врача бывать... Она что, издевается? Это как же я могу с больным сердцем по десять километров — чаще-то! Вообще помру по дороге... Ну, да речь сейчас не о том... А речь о том, что выписала она Пилогину лекарство с каким-то длинным-предлинным названием. Таким длинным, что запомнить его невозможно...

Приходит Пилогин в аптеку за лекарством. Сердце, говорит, точно помню: пока стоял в очереди, ещё болело... Отстоял очередь, подошёл мой черёд, просовываю в окошко рецепт. Она щёлкала, щёлкала на машинке... и говорит — с вас... Ну, тут я не стану даже повторять её слова, чтобы не обидеть многих наших односельчан, у которых, как и у меня, никогда в этой жизни не будет таких денег... Да... Но, как говорится, рядом с печалью всегда ходит чуть не под ручку радость — так уж устроено в этой жизни...

Вдруг я чувствую, как боль моя в груди пропадает куда-то, растворяется, исчезает. И вот уже её и совсем не стало... Думаю, вот это лекарство! От одного упоминания о нём всё проходит... Во как помогает! Купить, конечно, его я не смог — кишка тонка... А вот написать название попросил у аптекарши на отдельном листочке. Как же — ведь точно так же с сердцем маются у нас, почитай, полдеревни: и бабка Хрестя, и Пудьяновы, и оба Жахтановы... Оно ж, наверное, любому подсобит, раз такой огромной силой

обладает! Пусть идут в город, пусть тоже спрашивают. Глядишь, и у них боли пройдут, как вот у меня прошли. От одного названия...

ИЗЛИШНЕЕ МИЛОСЕРДИЕ

— Дедуш, а правда, что ты даже председателем когда-то был?

— Был, внучек, да только очень недолго. Сняли меня, как объяснили, за излишнее милосердие...

— Почему?

— А ты послушай — и сам поймёшь... Как поставили, так сразу пересел я с пролётки на “козла”, на “уазик”, стало быть... Ну, едем это мы с моим шофёром... Забыл уже, как и звали, но хороший был шофёр, в войну боевые машины водил, на врага ходил... Да. Так вот едем как-то по главной нашей улице, от конторы как раз... Глядь, а прямо посередке Володька Мирнее — сдурел, что ли, совсем, — прёт на горбу два мешка краденого жита... Я по мешкам сразу увидал — колхозное, с ближнего амбара, по три пуда в каждом... Ну, едем... Я говорю шофёру: “Давай помедленней... А то догоним, смутит человека... Неловко будет и ему, и нам с тобой...” Ну, он, конечно, слушает меня. Притормаживает, ясное дело... А этот паразит, ты слышишь... Решил передохнуть... Скинул мешки ворованные, ещё и уселся на них. Ну, и — это уже неслыханная наглость! — достаёт из фуфайки численник, кiset с махоркой... И ты только представь себе такое — я, дак, например, до сих пор не верю сам себе! — начинает закуривать. Да не сразу разгорается у него огонь... Так он чуть ли не к нам за огоньком... Ну, слава богу, не успел... Я тогда сказал водителю своё председательское слово — строгое и решительное: “Давай, говорю, сворачивай на другую улицу”. Ну, вот так раз-другой, внучек, и сняли меня с председателей... Да... Ну, как его там — за излишнее милосердие — так сказали в приговоре...

СТОРОЖ

Дядька Ваня Дупин всю жизнь пчеловодом проработал... А тут стало не по силам ему ворочать перед зимой ульи, подтаскивать патоку в бидонах, разливать по вёдрам, подставлять к ульям — подкармливать пчёл своих любимых... Словом, поставили его сторожем на бахчу... Чего там... Самый тяжёлый кавун — считай, полведра воды. Это уж ему можно одолеть...

Сторожовское дело нехитрое. Знай, спи себе, да бердаш не выпускай из рук, чтоб со стороны видно было: сторожишь... Только проработал он на той должности всего одну ноченьку. Потом сам рассказывал... “День, — говорит, — прошёл — не радуешься. Ходишь — сторожишь, сидишь, лежишь, даже дремлешь, а всё одно работа сторожовская продолжается — ведь сторожишь же? А как же! Сторожишь... Понравилось мне днём. А как ночь пришла, так я, утомившись той сторожовской службой, стал засыпать хорошим непривычным даже для меня сном — раньше-то просто валился с ног от усталости. А тут, как благородный, засыпаю от безделья... Ну, да ладно... Только заснул как следует, вдруг слышу совсем где-то рядом — т-р-р-р-р-е-с-ь. Я аж подскочил на своём месте. Головой о крышу шалаша — бац! — бердаш обхватил обеими руками, как утопающий за соломинку, за него ухватился — держусь... Зубами стучу — жду. Что дальше будет? А тишина... Выглянуть поначалу хотел — не стал: а вдруг да что-то там такое совсем уж страшное? Поостерегся на всякий случай. Решил характер показать — не выглядываю, и всё. Да оно и так ничего видать, темень стоит — глаз выколи...

Совсем уж успокаиваться стал, опять дрёма облаком заволокла и поднимает над землёй, засыпаешь, как дитя. Ещё подумалось мне на тех облаках: вот так-то бы всю жисточку работать, так бы и засыпать... А то ведь свалишься, бывало, от тяжкой работы рядом с кроватью, нет сил дойти до неё, так что родня подымает потом до подушек. Иной раз уронят, так и не проснёшься... Но чаще, правда, доносили благополучно...

И только это я так размечтался, вдруг слышу опять: т-р-р-е-с-ь... Но на этот раз уже совсем близко... Потом следом ещё и ещё, то слева, то справа. Тут я совсем перепугался. Да... Еле-еле утра дождался... Чёрт-те что в голову лезло...

А как утро сделалось — бегом из шалаша домой. Правда, бердаш не бросил. Потом вот прибег в контору, чтобы заявить, что больше я ни шагу на бахчу. Ещё бы! Ну, и стал рассказывать мужикам про те страшные шаги каких-то ночных то ли разбойников, то ли инопланетян-великанов... Бог их знает, кто они там такие. Только мужики меня на смех подняли...

— Эх, ты, — говорят, — войну, страсть какую, прошёл. А тут чего испугался... То ж арбузы переспевшие трескались — самое им время сейчас трескаться. Эх, ты... — И опять в хохот...

Но я им не поверил и от работы той смертельно опасной всё-таки наотрез отказался...

МИЛЛИОНЕРША

Про неё все как один — только с почтением, уважительно. И звали-то её, не как остальных — Валька, Янька, Колька Апатенков, Нехрюка... и опять Валька... Нет, что ты! Модистку звали по имени и отчеству — Зоя Фёдоровна, и никак не иначе... А ведь не за просто так... Ещё б! Каждому было известно в деревне, что Зоя Фёдоровна, в отличие от всех остальных, деньги делает. И потому, что одна она такая, и потому, наверное, что ни в нашей, ни в соседних деревнях таким делом — делать деньги — не занимался больше никто, решили мы подглядеть: как они проклятые делаются?

Чуть стемнело, мы у модистки уже под окнами. Заглядываем и видим: сидит Зоя Фёдоровна посередине хаты, на машинке швейной строчит. Вона денежки как делаются... А мы-то думали... Руки проворные такие — ну, прямо как у тётки Маруси продавщицы: так и снуют, так и находят сразу, что им нужно, и без всякой суеты, и без всякой паники — привычное дело.

Заглянули через час, через два, через три... светать уже стало... Она не останавливается... Ну, понятное дело, когда дело спорится, чего ж останавливаться! Живые деньги... Строчит, как пулемётчица... Вот что жадность с людьми делает! Остановиться такие уже не могут. Да и вряд ли что их остановит. Им, таким, и закон не закон. По закону ведь ночью спать полагается. А она нарушает...

Видим: палец наколола, аж вскрикнула! Любая б из наших бросила тут же свою работу, ещё б и матком запустила. А эта нет, так и тут не бросила! Вот что деньги с человеком делают... Ходит по хате, палец пораненный обсасывает... А всё равно с машинки глаз не сводит — всё мало ей. И всё ей нипочём — она, видите ли, деньги делает! Видали вы её!

И ведь, ты скажи, посмотреть на неё — ничего ж в ней такого нет. Ни за что не скажешь, что богачка... Такая же, как все безрезницкие бабы. И платок повязан, как у всех наших, и фуфайка на ней такая же, как у всех... Только один карман оторван — ну, то ж ясно: маскируется. И пот она со лба утирает так, как все остальные у нас в деревне. Только нас теперь не проведёшь! У наших-то пот трудовой, а у этой после того, что мы увидели той ночью, — другой, буржуйский... А так она — как все. Никогда не подумаешь даже, что миллионерша, что бешеные деньги по ночам делает.

ГОРЕ-ГЕРОИ

Ещё зачем-то говорят: “Народ безмолвствует...” Да ничего он не безмолвствует — он вопиет... Ещё как. Но только по-своему, по-православному, по-русски. Как это, спрашиваешь? А вот как... В какую деревню ни зайду — везде одна и та же история, только с разным концом... Господи, чего только не слушаешься! Как же народу хочется справедливости! Как хочется всем и каждому поквитаться с ненавистной, кровавой властью... И сразу же появ-

ляется очередной — только что в соседней деревне было уже их трое или даже четверо, в танке столько уже и не поместится, — а они всё одно... Не унимаются. Как же хочется свести счёты с чудовищем... Да. Как ни стыдно признавать это, скажут обязательно, что один из членов того танкового экипажа, который расстреливал живых людей в Белом Доме, — из их деревни...

Так начинали передо мной эту историю столько раз, сколько я входил в деревни не только нашей, Курской области, а по всей стране, куда бы ни приезжал, — даже в Анадыре, в Петропавловске-Камчатском, в Елизове... А вы говорите...

А дальше уже по-разному, в зависимости от людей, от характеров, от местных обычаев... А дальше обязательно что-то такое с ними, с этими горе-героями должно произойти, и непременно что-то ужасное: тот утонул, тот с ума сошёл, тот захлебнулся водкой прямо на глазах у всех, тот мясом поперхнулся или костью подавился. И всё смерти-то ужасные... Приводят свидетелей, которые всё это видели, до всего того своими руками дотрагивались... И вот теперь, не моргнув глазом, “свидетельствуют”: “Чтоб мне сквозь землю провалиться, если брешу!”

Слушаешь их и думаешь: как же деликатно наши русские люди откликаются на самые страшные несправедливости, низвергающиеся на них сверху в наше время в таком изобилии... И ведь берут на себя всю вину, что именно в их деревне родилось такое чудовище, а значит, и сами они в том повинны, скрипя зубами, а признаются. Да только желание справедливого возмездия, желание таким образом вступить в какой-никакой диалог с властью берут верх, и вот тогда-то и видно истинное отношение людей к происходящему... И потому получается, что в каждой деревне этих горе-героев, которые все, как один, получали награды. А иногда даже рассказывают, как оставшиеся от горе-героев ордена запечатывают и отправляют по почте на самый главный адрес страны: Москва, Кремль... Первому... Не припомню я других времён, когда так яростно швырялись бы наивысшими наградами... А вы говорите, народ безмолвствует... Не безмолвствует он. Слышать надо его научиться... Ведь только я один насчитал, перебираясь из одной деревни в другую, больше тысячи горе-героев. Столько и танков-то в стране нет... А ведь экипаж тот проклятый, что стрелял по Белому Дому, — всего четыре человека. Вот вам и любовь народа к своим властям! Да не безмолвствует народ. Он просто криком кричит... Да только его никто не хочет услышать.

О ПРАВДЕ

А вообще-то, дорогой внучек, всё, что я тебе рассказываю, — самые настоящие брехни... Послушай и забудь... Старайся в жизни по возможности быть поближе к ПРАВДЕ... Всегда будешь в выигрыше...

“СМЕРТЬ” ГАРМОНИСТА

На моих глазах это было.

Как сейчас помню: на свадьбе у Пилюгинской дочки, как раз на Бориса и Глеба, сцепился наш гармонист с магнитофоном. Он его, как только внесли и поставили в угол на тубаретку, заметил — всё кидал в его сторону подозрительные, а то и ненавистные взгляды; то через прищур, а то и открыто во все глаза — сразу почувствовал в нём своего врага. То было состязание не на жизнь — на смерть! Уж как старался Иван, какие взгляды-молнии метал в сторону своего соперника — этой проклятой машины, этого зеленоглазого циклопа!

А люди! Люди-то — и чтоб вовремя опомниться!.. Так нет! Слышали — не глухие! — как бедный Ванька изо всех сил рвал меха, старался ни в чём не уступить равнодушной одноглазой машине, весь в поту, голову уже чуть не на меха уложил — уморился состязаться — и исподлобья косился в сторону ненавистного аппарата, и прямо смотрел, и сверлил взглядом, а потом

стал уже и клонить голову на поле брани последний березницкий гармонист. А жестокие равнодушные танцующие люди нет-нет да и подойдут, да и крутанут какую-то ручку — городские, им виднее! — а машине что: глядит немигающим своим зелёным равнодушным глазом, как циклоп какой, и давай ещё шибче, давай ещё громче... Её звуки неживые — чего они стоят! А вот Ванька того гляди вместе с аккордеоном на пол вот-вот свалится, обессиленный и разнесчастный. Такого не случилось, конечно. Последней каплей для него стало включение магнитофона на всю мощь. Ну, куда простому человеку против техники! Тут все запрыгали, как козлы, как городские.

А когда ближе к утру уже хватились: где же гармонист?

Сказали, что видели его у речки, как подходил к Сейму, как раз к Чёртову Бешеному равцу... Место лешачье... Сказали, что с гармонью. Первое, что подумали: завалился, утоп с досады Ванька. Но нет! Через месяц-другой услышали наши свою музыку — живая! Но доносилась она уже не рядом с березницкой хаткой гармониста, а со стороны Строищ, что в четырёх километрах от Березников.

С тех пор наши березницкие с тоской глядят в сторону соседней деревни, откуда нет-нет да донесутся с детства знакомые всем звуки родной гармошки, и проклинают ненавистный прогресс. А магнитофон тот бьёт как и включают, только те, кто с придурью или кто никак выздороветь от затяжной болезни какой не может. Слава Богу, такое нечасто случается.

СИЛА ВЕРЫ

— Бог есть! — всегда говорил Пилогин. Часто уточнял: — И он справедлив!

Так и в эту весну, когда случился разлив, и паводок подступался чуть не к порогу березницких хаток, Пилогин говорил, глядя на волну, подкрадывающуюся к высокому порогу его недавно подчепурённого дома:

— Вот гляди: казалось бы, самую малость — и всё! Ан, нет! Кто-то там сверху, — и он при этом задирает голову, а иной раз даже стучался головой о край дверной притолоки, — приглядывает за всеми нами, не даёт перешагнуть воде к нам за порог незваной гостюшкой. Вот подошла — и стой тут. Дальше — ни-ни! Дальше — люди. Не моги! И так из века в век... По той воде время можно было сверять — вот половодье есть, а вот уже и нет его. И ведь всегда так и было. А тут...

Думал так Пилогин и тогда, когда воды в доме стало по щиколотку, и когда по голенище, и когда по пояс. От своего не отступался. Кивал опять наверх, косясь на бантину, которая тоже могла бы больно ударить его по голове.

— Обо всех там забота имеется, а то как же... Так бы все и позаливались бы давным-давно. А вот живём же, радуемся.

Он, наверное, и под водой уже продолжал радоваться и верить, и даже мысли не допускал, что Господь может быть несправедлив и к нему, и ко всем березницким, иначе не нашли бы его после паводка с чугуном в руках у печного устья, с сияющим выражением улыбавшегося во весь рот спокойного лица, обращенного куда-то вдаль, наверное, в сторону надежды, в сторону, откуда должна бы прийти помощь, да вот не пришла...

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

— Дак ты бы прошёл да спросил у Кольки Пилогина. Ну, и что, что помер. А тебе что, это помеха, что ли? Всё при нём и осталось.

Только не начинай издалека, сразу к делу: так, мол, и так. Не было ещё такого случая, чтобы кто-то по настоящему, по стоящему делу не отозвался. Семён вон до сих пор с Веркой Апатенковой любовью крутит. Не докрутил при жизни-то. Иной раз вергается с кладбища — пол-лица огнём горит от Веркиной пощёчины. На люди не показывается — стыдно за то, что руки распус-

кает раньше положенного... А потом переждёт-переждёт — и опять туда, к могилкам. Так у них любовь, известное дело, — безделица. А у тебя-то совсем другое. Да гляди, сразу всего не выкладывай, а то ещё выскочит, высигнет да вперёд тебя до кузни, до оставленного тобой дела доскочит — он такой, я его знаю. Оглянуться не успеешь. Наши, березницкие, они такие! Сколько раз уже было. Так что шибко сразу не озадачивай. Потихонечку, помаленечку. Понимать должен. Сам когда-то на заслуженном отдыхе будешь. Слава Богу, все они, советчики наши, наставники, с нами — вот они, как говорится, под рукой. Без них куда? Да никуда! Давно попропали бы. А так...

ОЧАРОВАННАЯ ДУША

Началось всё с того, что на берегу нашего Сейма, как раз напротив Крючковщины, — не самого красивого места, — появился художник, конечно, из городских. Нашим не до того — работы во сколько, что в полях, что в огородах. Наломаетесь — не до художества, дух бы перевести. А этот гладкий такой, чувствуется — отдохнувший, не загнанный человек. Не ускользнуло от Колькиного внимания, как художник голову склонял на плечо, как щурился одним глазом, как руки, выпачканные краской, засовывал под бечёвочку вокруг пухлого живота. Как никого он не замечал вокруг — никого! Даже Кольку. Даже его! Как губы розовые, уже покусанные, покусывал, как... Да что там говорить — Колька всё успел разглядеть, всё запомнить, чтобы потом вот так-то вот самому... Сильно ему захотелось вот так же, как этот, городской, срисовать и это место с видом на Крючковщину, и другие — их Колька знал поболее, чем ЭТОТ!

Колька на такой случай проходил мимо — тоже любил с того места малой родиной любоваться, — находил время, хоть и короткое каждый раз, но зато радостное. Стал рядом — ну, конечно, с разрешения. Так вот, сначала вроде бы ничего особенного не происходило. А когда на холсте том самое любимое Колькино место стало вырисовываться, да как на грех один в один по похожести, получалось очень даже хорошо. Получалось две речки: на самом деле и на холсте. Ну, точь-в-точь. “Какую из них он с собой заберёт?” — заволновался Колька, заперезживал не на шутку. Не безразлично ему это было, ой, как не всё равно! Ну, очень уж они были похожи одна на другую! Ничего не скажешь... Тут и началось.

Зашлась Колькина душа. Поразила его та простота, с которой человек на глазах у всех среди бела дня кусок речки с самым красивым бережком себе в карман, можно сказать, кладёт — почти ворует. Слава Богу, своё взял, не наше, березницкое, — наверное, пронял Колька его своими попрекающими взглядами. Или ещё что похуже почувствовал — колькины-то кулаки от работы выросли во какие, да и стоял он от него не очень-то далеко, можно сказать, даже совсем близко...

Уже на следующий день видели Кольку в городе на базаре, где покупал он странные вещи: треногу, мольберт, краски, кисточку, одну, но колонковую, как в магазине насоветовали. Колька откладывать завидное дело не стал — слава Богу, и время нашлось для исполнения его невыразимого желания.

К Сейму отправился. Растопырил Колька на берегу треногу, в те же дырочки встрамил растопырки, как и художник городской, поставил перед собой мольберт и давай малевать. Так же откидывал голову то на правое плечо, то на левое, и шляпу сдвигал далеко на затылок (как только держалась!). Он и так, он и эдак: и из-под руки глядел, и отходил, и приближался. И так же делал вид, что никого вокруг не замечает. Оно, по правде сказать, и не было никого рядом. Но это уже и не так важно, а важно, что всё он делал, как ТОТ.

А ничего не выходит. Заозирался. В чём, собственно, дело? Ведь всё же делал, как полагается: и дырочка в дырочку, ну, и всё остальное... А спросить-то не у кого...

Колька ещё раз попробовал. Опять не получается, — нет таких мест, какие выходили на холсте из-под его руки. Нет! Не выходит! А почему? Вопрос тот как катком накатил — никуда от него!

Пошёл к людям. Помнил: люди про всё знают. Умные дураками прикинулись. А один дурак сумничал: взял да и объяснил Кольке, что к чему. Что, мол, дело вовсе не в том, чтобы в те же дырки треногу встрамлять, не в том, как голову на плечо скатывать, побряхтывать так же, как он, как он, шуриться, и даже не в том, как руки перепачканные краской за перевязочку на животе протискивать, а дело в том... Да лучше и не вспоминать про те слова. Не поверил Колька. Пошёл по свету правду искать с пораненным раз и навсегда сердцем. Да, а мольберт тот с треногой до сих пор на краю речки стоит как памятник лучшему движению очарованной Колькиной души. Иной прохожий так и слезу сронит. Отвернётся — расчувствуется: земляк всё-таки. Жалко. А время — что ему: идёт себе и идёт. Скоро снег выпадет...

Если попадётся Николай вам на ваших путях-дорожках — ничего про талант ему не говорите: не любит он это слово, даже, можно сказать, ненавидит и... глубоко презирает.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Председатель Сомов первым провёл день в открывшейся в Березниках библиотеке с читальным залом. Перед самым закрытием его с трудом разбудили. И не сразу он выпустил из рук толстую книгу “Математическое моделирование”, которую всё время своего пребывания в храме науки держал кверху ногами. Когда делился впечатлениями, не скрыл, что впервые в своей жизни отдохнул как следует.

Пример оказался заразительным, и теперь в библиотеку отправляются “пополнить” свои знания те, кто привык перевыполнять взятые на себя обязательства и соответственно уставать больше, чем другие — не читающие и даже не записавшиеся в столь необходимое на селе учреждение. Одно жаль — сроки пополнения знаний ограничены часами работы библиотеки, которые обозначены на выцветшей табличке рядом со входом.

КЛЕПТОМАНИЯ НАОБОРОТ

Вдовец-одиночка, бессемейный Фёдор Велихов — наш березницкий конох — любил бывать в городе. Возвращался из Рыльска всегда в приподнятом настроении, необычайно счастливым и до краёв радостным. Спросите, почему? Да вот, говорят, хворь у него такая — “клептомания наоборот”. Что это — никто до сих пор не знает, а знают другое: по приезде в город Фёдор, оглядываясь по сторонам, — наверное, чтобы никто этого не видел, — покупает в раймаге килограмм лучших конфет, а потом ходит по улицам Рыльска — по Володарского, Клары Цеткин, особенно почему-то его прихватывает по Карла Либкнехта, и, чтобы не дай Бог кто увидел, — в этом его проклятая болезнь, — тайком кладёт в карман первому встречному пацану конфетку. Но только чтоб никто, никто не увидел, ни одна живая душа, — чтоб не обнаружилась эта его хворь.

Слава Богу, ругать его некому, да и врачи говорят, что болезнь эта у него “прогрессирует”, ничего с этим поделать нельзя. Разве что в Курскую областную больницу обратиться. Дак пенсии Фёдора только на дорогу в один конец и хватит. Так и “мучается” человек: не отдаст кому что-нибудь — ходит сам не свой. Ну, больной — он и есть больной, что с него взять!.. Люди про ту его хворобу знают — как же! От березницких попробуй что утай! Так вот, чтобы помочь ему избавиться от страшного недуга, просят Фёдора съездить в город купить то тó, то это. А сдачу, говорят, возьми себе — ну, вы понимаете, на что. Он потом неделю-другую нормальный человек, замечательный работник, и к людям, и к лошадям уважительный. Но потом опять на него накатывает эта самая “клептомания наоборот”, будь она неладна.

МОНАМУР

Как раз под майские свинарю Кольке Фердинандову подарили авторучку и аккуратненький флакон французской туалетной воды. Надпись на бутылочке перевели со словарём: “Моя любовь”. Начальству хотелось, чтобы от свинаря хотя бы иногда поменьше воняло, когда он нет-нет да и появляется у начальства, ну, и чтобы с отчётами не затягивал — ручка теперь всегда при себе. Ещё и пожалели, что одну подарили. Всё-таки надо было две-три...

Но затея эта благородная провалилась на корню: вонь, исходившая от Фердинандова, стала только злее на фоне этой “Любви”. Так и то ещё не беда: свиньи поголовно с того злополучного дня награждения перестали принимать Николая за своего...

РЫБА

А знаешь, внучек, что рыбы в Сейме больше, чем воды?

Да-да! И не сомневайся. Да вот третьего дня приезжали городские. Да как бросили шашку в Дёмкин Рог, ну, там где Чёртов Ровец, где на ямках так крутит, что аж дно видать в воронках, и сомы вылезают из воды по пояс и скалятся, — знаешь? Да. Так вот, как грохнуло там — аж небеса потускнели, и шишки в ближнем лесу с ёлок, да и не только с них — отовсюду наземь попадали... Верить-нет, всплыло столько рыбы, внучек, что вода сделалась как посеребрённая, и стали люди переходить по ней, аки по суху, с этого берега на тот... А иные так и по несколько раз...

КОЧЕГУРКА

Не могу забыть эту Кочегурку. Помнишь, как же она, бывало, складно пела... Как сочиняла на ходу всякие присказки, колядки, брёхни разные... А песни какие пела! А голос какой приятный был... Век бы слушал... А ведь позапрошлым или даже больше — видишь, уже и не помню точно! Вот она, людская память, какая... Так вот, стало быть, приказала наша Кочегурка долго жить.

Могилка её ждала как раз с того боку кладбища, где ручей течёт, — ну, помнишь, ближе к деревне, с того краю... Кто с чем пожаловал к ней на похороны. А я, как узнал, что песни те свои она сама же и сочиняла, — что б мне раньше-то узнать про то! — попросил бы, чтоб научила и меня: так мне хотелось тоже удивлять народ, радовать... Но опоздал я, как видишь...

Так вот, подкрался я бочком к гробу и положил ей туда общую тетрадку и наточенный химический карандаш... Даже два, а то и три — сейчас не скажу точно. Пускай себе пишет на здоровье... Ну, схоронили. Всё как полагается... Крест поставили — Шурка Каплин постарался: железный специально для неё выковал, все ж её любили, ценили, уважали... Ну, и всё. И разошлись по домам...

А тут третьего дня слышу: кричат с улицы: “Кочегурка!.. Беда!.. Погибает!.. Помогите, люди добрые...” Выбежал и я на улицу... “Что такое, — спрашиваю. — Что случилось?” А то, говорят, что ручей тот, что рядом с её могилой тёк, тёк-тёк, да и подмыл песчаный край кладбища... Рухнул он... Гроб Кочегуркин открылся, крышка с него сползла, чуть не придавил её... Надо спасать человека... Народ давай помогать ей — хорошая была женщина. Ну, кто что... А я опять бочком, бочком да к тому месту, где тетрадку положил... Глядь — лежит... Я её скорей взял... Отошёл в сторонку... Руки колотятся. Раскрыл... Верить-нет, а она вся как есть исписана, даже на корочках... Я её почерк хорошо знал, — она приходила к нам в хату письма дочечкам моим писала под мою диктовку, так что почерк её я и в потёмках признаю, — как не признать после всего, что было промеж нами... Так что ошибки тут быть никак не могло... Я аж отуманел... Лоб мокрый сделался, холодный... Ещё дальше от людей отошёл,

кинулся читать... А ничего прочесть не могу, — невозможно, слишком сырое место выбрали мы для неё, когда хоронили. Всё поразмывало... Ничего прочесть нельзя...

ЧЕРГЕНЧИХА

Ох, уж эта Чергенчиха! Во всех отношениях уникальная была женщина. Ну, во-первых, кузнец. Баба-кузнец — само по себе редкость... Так мало этого, — считай, первая красавица была, и не только в нашей деревне — во всем нашем Рыльском районе и доброй половине Корневского. Ну, и красавица была! Волосы длинные, как у русалки, глаза голубущие, плечи — сам понимаешь — кузнец! — косая сажень. Но в ней это не отталкивало. Наоборот, сильно даже притягивало. А главное её отличие от всех остальных наших баб было в том, что очень уж она охоча была до мужиков. Наши, может, и не уступали ей в том, да только всё молчком, скрытно... А эта нет — ничуть не скрывала свою эту слабость, а может, даже и выставляла её напоказ, чтоб видней было... А может, скрыть не могла... Тут разобратся с ходу трудно...

Ну, сейчас не об этом... Главное, что все знали: не откажет, если что... По первости мужики наши и соблазнились было. А то! Пышнотелая, красивая, аж жуть берёт, крупная, улыбчивая — ещё б не заприметить такую-то! Да и она не скрывала своего интереса к противоположному полу — к нам, стало быть, мужичкам. Интерес, как говорится, был обоюдный. Да только тот, кто, бывало, останется у неё в хате на ночь, тот утром уезжал на “скорой” в город в больницу с переломанным ребром, а то и с несколькими... Понятное дело — кузнец, силы невпроворот, а тут ещё и страсть своё дело делала — сил прибавляла, удваивала, а то и утраивала... Кто против такого напора устоит, какая кость выдержит... Вот и ломались, не выдерживали.

А она, змея, вырядится, намажется, напудрится, наодеколонится, волосы свои золотистые распустит, плечи расправит — смотреть страшно — настолько хороша, падлюка! — и айда в клуб на танцы... Идёт по деревне, как лодочка плывёт по тихому Сейму без вёсел, по течению плывёт, а несёт её то течение к её самым сокровенным желаниям — оно ж хорошо видно... Ну, кто понимает, конечно... В общем, идёт, плывёт она — глаз не оторвать. Наши-то, березницкие, про её проделки знали и про карету “скорой помощи” хорошо помнили... И как видели, что она к клубу подходит, — сразу врассыпную. Оставались в клубе только те, кто про то не знал или не верил: трое из Мазеновки, двое из Капустичей и никого из Кальчичеево, потому что там больше и не живёт никто.

ПРОВАЛЬЕ

Ты ж смотри, внучек, не ходи на Тарахово болото. Непокойное, нечистое, лешачье место... Помнится, мы с мужиками косили там сено, рядки клали, копицы ставили... Кто-то возьми да и скажи: “А что, мужики, сколько здесь живём, а про глубину провалья не знаем... Надо бы смерять...” Сказано — сделано. Нашли кирпич и кинули его туда, в темноту. Ждали-ждали... Тихо. Другого кирпича не нашли... Пошли дальше работать... Поработали себе в удовольствие. Пошли на обед... Пообедали. Отдохнули дома, кто за чем — кто за каким делом: кто плетни выпрямлял, кто сарай подпирал, кто кабана кормил. Кто чем занимался — делов у каждого хоть отбавляй... Вернулись косить на Тарахово болото. Ещё полдня косили... Темнеть уж стало... Мы про то провалье и думать себе забыли... Вдруг слышим — бац! Переглянулись друг с другом... Аж отуманели — вот какая у того провалья глубина... Так что не ходи лучше, внучек, туда, слышишь, не ходи. Целей будешь...

ВИСЛЮГА

В соседнем дворе у Валентина Пилюгина всегда было две собаки: Этаж и Этажерка... Тихие такие, спокойные собаки, кобель и сучка... Так вот приглядишься — Этажа больше нету. Почему, спросишь? А потому что нету больше во дворе и самого Валентина Пилюгина. Опять — почему? Да потому что он захворал и сыновья отвезли его к себе в Ставропольский край, в станицу Ново-Павловскую подлечиться.

А дело было так. Завёл сосед тех собак, чтобы поспокойнее жилось... А то стали по ночам мимо дворов какие-то незнакомые люди шастать. Что там у них на уме — поди-знай...

К ним как-то родня приехала “на денёк”. Приехали вроде не так уж и поздно — как раз ложились спать: то ли в девять, то ли в полдевятого... Ну, уже хорошо стемнело. Они — гости-то эти — и давай стучать к Пилюгиным то в окна, то в ворота крепко-накрепко запертые... Пилюгин так и не пустил их, хотя те клялись-божились, что родня, и всё такое... Лица свои под окна подставляли — ну, чтоб он их признал. Эх, лучше бы они этого не делали — он ещё пуще напугался... Так и сказал им — приходите по-светлому, тогда и разберёмся, кто да что...

Утром выяснилось, что приехали те всего-то на денёк. Только и осталось, что обняться им и сразу в обратный путь — больше времени у них не оказалось... После того случая и завёл Пилюгин собак... Да вот Этажерку сразу полюбил — с первого же взгляда, а вот с Этажом никак у них не получалось. Только, бывало, и слышишь с соседнего двора раздражённый голос Валентина: “Ишь, разлётся, дармоед, паразитюга проклятый... Вислюга... У-у-у, нищий... Змей исподлюбный... Чтоб тебе... У-у-у, невдалый... Кабыздох... Ни на что не годный... Дармоед бесстыжий. Родимец тебя подери...” — так ругался на Этажа Пилюгин.

Ругаться-то он ругался, а ведь того и не подозревал, что у кобеля того совсем другое предназначение было в жизни: любить Валентина Пилюгина... Да, да... Ты не поверишь... Лежит, бывало, посередь двора, свернётся калачиком и выслушивает те пилюгинские матюги да безропотно принимает пинки — и такое было... Валентин, когда разойдётся, бывало, многое себе позволял. Так вот, лежит себе и лежит Этаж и глядит из-под мохнатых бровей на Пилюгина самым наипреданнейшим на этой земле взглядом... Глядит и прощает... Глядит и прощает...

“Ругай... Ругай... Знал бы ты, для чего я на белом свете живу... Да тебя ж, дурака такого, любить...” Каждый из них знал своё дело. Каждый знал, для чего живёт на белом свете... Валентин Пилюгин — ругать пса, а Этаж — прощать хозяина... Веришь-нет, а заболел Пилюгин, увезли его сыновья далеко-далеко, и не стало во дворе Этажа... Не успел даже со своей Этажеркой как следует попрощаться... А ведь не в соседний двор отправлялся. В дальнюю-предальнюю дорогу... Считай, до самого Кавказа путь держал. Следом за своим любимчиком... Мир-то слухами полнится.

Вот и пришла новость: видели Этажа где-то под Белгородом... Ободранный, голодный, холодный... Потом уже в Минводах где-то... Еле ноги волочит... Потом... Да что говорить — всё ближе и ближе к станице Ново-Павловской... И вот уже совсем немного осталось... Говорят, уже ползком передвигался. Так что скоро уже и повстречаются... Вот радости-то будет обоим...

ВЕРА

Рассказывали, как дед твой Троша, когда городские электричество проводили в деревне, получился к концу дня вроде как обделённый: ну, не хватило на него в тот радостный для всех березницких день ни проводов, ни изоляторов. Одна лампочка да пара бракованных изоляторов с проплешинами, — битые оказались, ненужные, — только они и достались ему, да и те пришлось по потёмкам в траве шарить, чтоб люди не видали, чтоб не засрамили, чтоб ничего такого не подумали, не дай-то Бог...

А ведь он больше всех хлопотал, беспокоился. Давал советы, в которых никто не нуждался. Переносил лестницу-стремянку из хаты в хату. Помогал изо всех сил. Городским нравилось. Ещё бы! Человек на подхвате — кто ж откажется! И вот на тебе: у всех “ликтро”, а ему — одну лампочку и облезлые изоляторы. И хоть успокаивали его: “Завтра с утра начнём прямо с твоей хаты...” — но не из таких был твой дед, чтобы оказаться после всех, он же у тебя всегда первым должен быть во всём и везде. Какой там завтра! Жизнь научила — это завтра может растянуться навсегда, на всю, может, жизнь. Да и не из обидчивых был он, дед твой Трофим. Зря, что ли, толкался целый, почитай, день с электриками из Рыльского. За день нагляделся, что и как, — не зря присматривался, прислушивался, перенимал чужой опыт. И всё оценил и всё понял своим хватким крестьянским умом.

Когда пришёл к себе домой, прикрыл притолоку дверную покрепче... И сладил. Всё, как у тех, кто уже сидел по хатам под своими лампочками. Споровил дед всё, как у всех: повытаскивал шнурки из всех ботинок — получилась проводка ничуть не хуже, чем у других. Недостающие изоляторы разбавил катушками от ниток. Да, не забыть бы завтра подсказать городским свою придумку насчёт катушек — какая экономия получится! Отматывать ему некогда было — так с нитками и пошли в дело, ничего, сгодились и так. Получилось даже красиво — с бахромой. Мог бы и получше чего изобразить, да перебор ни к чему. И так хорошо! Проверил натяжение провода, как городские электрики проверяли: оттянул и отпустил спроворенную проводку. Она хлестанула по потолку, след оставила на свежей побелке... Эх, надо было бы постирать шнурки, прежде чем в дело пускать, да времени в обрез: не сделаешь сегодня — никогда, может, уже не сделаешь, так его учила жизнь, так подсказывал жизненный опыт. “Нормально”, — оценил, в конце концов, свою работу довольный Трофим.

Знай наших, березницких! Потом лампочку повесил к матице на самой середке хаты, рассчитал: тут, как ему показалось, ей самое место — во всех углах светло будет. Как-то обошёлся без выключателя. Да и зачем? Главное в этом деле — лампочка! Главное, свет — его и вовсе выключать ни к чему: столько дожидаться, а потом взять да выключить — подумать даже страшно!

Всё сделал Трофим, что выхватил из чужого опыта того суматошного дня его цепкий глаз. Всё перепроверил, когда показалось ему, что всё готово, и... сел на скамейку, которую поставил как раз под свисавшей с потолка лампочкой, обвязанной за цоколь шнурком, уставился на неё. В церкви так на образа глядят люди... И стал дожидаться. Потом прилёт...

Понутру, когда председатель переступил порог ищенковского дома, комната была заполнена до краёв ярким светом. То ли от счастливой сияющей улыбки спящего на полу твоего деда, то ли от солнца, будто вкотившегося в то утро в его комнату. Председатель даже зажмурился — так много было этого света, каким-то особенным он был, этот свет, — уж очень желанным, ласковым и тёплым, как будто перепелиным крылышком оведал душу.

И впервые в своей председательской жизни, — веришь-нет, — не стал он подымать спящего своего работника, колхозника чуть свет, и потому что свет тот был необычный, и потому что до того светлого утра в жизни своей никогда больше не видел более счастливого человека, — вот рука и не поднялась.

ВЫГОВОРИЛСЯ

Не просто так я к вам взял и пришёл, дорогие мои соседushки. Желая признаться...

Жизнь мою к концу клонит, а совесть не на месте. Всю жизнь свою тот камень на сердце носил, вот и надсадился. Желая снять с души ту тяжёлую каменку — непосильную, злую и колочую.

Это ж с тех самых пор тянется, как все мы в колхоз пошли, бежком побежали. Вы-то про то позабыли, а я-то нет. Да, да с тех самых... В те па-

мятные денёчки как-то забрёл я на ваш огород — в самый конец, ближе к Звернику, к раkitам, кустам, к самому окрайку. На мельницу шёл — ну, да вы сами знаете. Да. Так вот, значит, гляжу это я — мешок лежит. Полнёхонький. Пузатый. Бокастый. На боку надпись неровная химическим карандашом: “Удобрение”. Сроду не пробовал, а слышать слышал: урожай от того удобрения сам в окна лезет, в двери стучится. Я ж до той поры обходился, чем Бог послал, — ну, вы сами знаете. А тут такое счастье само в руки идёт. Ну, бес и попутал. Не-е-т, я не сразу. Я день хожу — лежит, второй, десятый... Я и со счёту сбиваться стал, а он лежит и лежит, — и манит, что б его. Ну, в общем, чего ходить вокруг да около! Это я ему ноги приделал, взял я его на горб... “Будь что будет!” — решил тогда про себя. Ну, молодой, дурной был. Ну, сами знаете.

Ничем он мне в помощь не пришёлся, тот мешок. Удобрение то ни всходы не расправило раньше срока, ни плоды не налило. Всё как оно до того было, так и потом стало — ничего не поменялось. Слава Богу, вы не хватились того добра. Сам до сих пор в толк не возьму: как это вы забыли про такую ценность? Оно ж чего доброе — всегда к груди прижмёшь, чтоб никому... и долго про него помнишь. Ну, сами знаете. А тут?!

Ну, и пошла жизнь — идёт и идёт. С этого конца той истории всё как будто бы хорошо. Но с другого — душевного — просто беда! Лёг мне на душу камень — кража была, как ни крути. Вот и проходил я с этой каменюкой в груди, почитай, весь свой век. Шагал тяжелей других, среди людей находитея подолгу — как того хотелось — не получалось: каждый раз пора было глаза опускать свои бесстыжие да совеститься. Всё ж людей боялся: а ну, как кто видел, захватил... да помалкивает, да вот-вот заговорит... Врагу не пожелаю тех моих мучений. Жил, как подранок. Всё, казалось, презирают меня, про всё все знают, только не признаются, молчат до поры до времени.

Этот-то камень потяжелее будет, чем первый. Ох, как потяжелее. А тут светлое будущее, говорят, уже не за горами. А как мне туда с таким грузом? Ну, сами знаете. Ну, и вот тут на днях так придавили они меня оба два эти камня — хоть в пеглю лезь. А так хочется вольно пожить, с лёгким сердцем дожить свой век. Так что принимайте хоть и запоздалые мои, да извинения. А уж если соблаговолите, так и дайте прощение мне своё как можно скорее — измучился я, сил боле нет моих так жить, как я после того живу. Дайте, Христа ради!.. Ну, что вам стоит?..

Склонил голову Колька. Стоит. Ждёт. А сердце в груди, что кузнечный молот колотит: бух да бух. Того и гляди грудь разнесёт вдребезги. Наклонился, набылчился, глазами за стены держится, чтобы не рухнуть перед ними наземь...

А соседи ему, веришь-нет, и говорят добрым-добрым голосом: “Зря ты так, Николай, убиваешься. Да что ж ты, Коленька, молчал столь долго? Да то ж и не удобрение вовсе было! А стало быть, нет на тебе греха. То ж обдумали нас. Тем якобы удобрением нас в колхоз заманили, а на поверку оказался мел толчённый. Мы его и выкинули подальше от дому, подале от порога, чтоб глаза не мозолил, про нашу страшную ошибку не напоминал. А ты попустому печалился такой срок. Зря мучил душеньку свою, терзал её попрёками ни за что, ни про что. Да, а по почерку на мешке угадали и руку счетовода нашего тогдашнего — Бицуру. Вот то грех так грех. Но он и сейчас, как встретится, — глаза, как ты, не отводит. Нет — то совсем другая порода, не наша, не березницкая. Мы его спрашиваем: что ж ты, сукин сын... А он в ответ каждый раз одно — как заучил: “Шутки понимать надо...” — говорит”.

Кольке и осталось только, что сказать им: “Ну, так я пойду...” Уже на пороге обернулся: “Может я, того, мешок хотя бы верну... С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, вы сами знаете”. Ему ответили в один голос: “Да брось ты, Николай... Забудь”. А потом переглянулись между собой как-то совсем не так, как хотелось бы Николаю. “Вот не надо бы вот так-то прощаться, — подумалось ему, — больному от всего больно”. И он пошёл тогда. Молчком пошёл к себе по-первости дробными шажками, потом покрупнее, покрупнее, а потом и бежкой побежал, дотла сторая от стыда и от обиды... Ну, прямо-таки дотла.